

■■■■■

**Нация как событие:
война, Германия,
Франция в «Декарте»
Шарля Пеги¹**

■■■■■

The essay analyzes a peculiar vision of the essence of French and German nations as represented by Charles Peguy in his late work *Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne*. It gives a brief outline of the thinker's life and career with a focus on the major paradox of his literary nationalism: Peguy's conception formulated in the wake of the Great War somewhat mystically anticipated both the character of the impending military conflict and the subsequent course of European history that resulted in a new slaughter in 1939.

LITERARY NATIONALISM, CHARLES PEGUY, WAR AND LITERATURE, PHILOSOPHY AND POLITICS

В работе анализируется оригинальное и исключительно радикальное видение существа французской и немецкой наций, представленное Шарлем Пеге (1873–1914) в предсмертном труде «Сопутствующая заметка о Г-не Декарте и декартовской философии». При этом дается сжатый очерк жизненного и творческого пути мыслителя; упор сделан на том, что один из главных парадоксов литературного национализма Пеге заключается в том, что, выйдя из под пера мыслителя буквально накануне Великой войны, его концепция мистическим образом предвосхитила и характер предстоящего военного конфликта, и последующий ход европейской истории, вылившийся в 1939 году в новую бойню.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ, ШАРЛЬ ПЕГИ, ВОЙНА И ЛИТЕРАТУРА, ПОЛИТИКА ФИЛОСОФИИ.

1

В основе статьи лежит расширенный вариант доклада, прочитанного на международной конференции «Русская мысль о событии: философский и культурный аспекты», организованной и проведенной Институтом философии и социальной теории и Филологическим факультетом Белградского университета (Сербия) 27–28 июня 2016 г. Работа выполнена в рамках проекта «Генеалогия, топология и ключевые фигуры литературного национализма во Франции XX-го века: Шарль Моррас, Морис Баррес, Шарль Пеге, Поль Валери, Пьер Дриё Ла Рошель, Жан Полан, Луи-Фердинанд Селин, Морис Бланшо», поддержанного РГНФ, №15-04-00478.

ВВЕДЕНИЕ

Задаваясь вопросом «Что такое событие?», трудно обойти молчанием вопрос о языке, на котором встает этот вопрос: очевидно, что «событие» на русском языке отнюдь не то же самое, что «l'événement» на французском или «das Ereignis» на немецком. Комментируя «Философию поступка» М.М. Бахтина, В.В. Бибихин замечал: «Чтобы было «событие мира», должно сбиться то, что есть» (Бибихин 71), подчиняя, таким образом, событие внутренней форме русского глагола «сбиться» и, соответственно, основополагающему глаголу всей западной философии «быть». Это словесное подчинение «события» «бытию» иначе ощущает В.А. Подорога, который в статье, написанной для «Новой философской энциклопедии», подчеркивает: «В современных и новейших философских онтологиях «органицистского» (постбергсониянского), феноменологического и постструктуралистского толка понятие события (аналог становления) противопоставляется понятию бытия» и добавляет, характеризуя последние: «Событие – но не со-бытие (не со-провождение бытия — см. Подорога). Из приведенных словоупотреблений следует, что русское событие слишком тесно привязано к бытию, вот почему один русский философ не ставит под сомнение их сопричастности, тогда как другой, живо ощущая различие, делает упор на противопоставлении. Так или иначе, но и для первого и для второго подходов характерны неразличение, смешение категорий мышления и категорий языка: здесь мысль работает так, будто не хочет сознавать, что вся проблематика так называемого бытия восходит к соответствующему греческому глаголу, что вся греческая метафизика обусловлена конкретной «лингвистической ситуацией», отнюдь не исчерпывающей все

возможности обозначения, или соотношения, слов и вещей: «Он (Аристотель – С.Ф.) думал, что определяет свойства объектов; а полагал исключительно языковые сущности; именно язык, в силу собственных категорий, позволяет их распознавать и характеризовать» (Benveniste 70). Иными словами, тот или иной национальный язык не только хранит, не только питает, но и активно формирует национальный образ мысли.

В свете этого положения становится очевидно, что русское событие непреодолимо сопричастно бытию, прикреплено к нему целым рядом языковых и пространственно-временных отношений, что, разумеется, несколько умаляет саму событийность события, то есть целый набор возможностей и невозможностей, ожиданий и неожиданностей, особенностей и сходств, который прочитывается в немецком «das Ereignis» или французском «l'événement», лингвистически разведенных с «das Sein» или l'être (Cassin).

Вместе с тем, как это ни парадоксально, есть одна стихия, в которой столь по-разному мотивированные понятия встречаются: речь идет об историчности или, точнее говоря, об определенной подверженности события истории, в различных значениях этого слова. Событие так или иначе становится достоянием истории, то есть, в первую очередь, некоего рассказа, повествования, нарратива, словом, языковой стихии. Как писал Ж. Делез в «Логике смысла»: «Не будем задаваться вопросом, каков смысл события: событие и есть собственно смысл. Событие в сущности своей принадлежит языку, поддерживает с языком сущностные отношения» (Deleuze 34).

Эта мысль Делеза может прояснить смысл, точнее говоря, многомысленность названия настоящей работы: во-первых, речь идет о нации как своего рода явлении, в том числе в самом сильном значении этого слова – пришествии нации, как говорят, о пришествии

Христа; во-вторых, именно в этом смысле пришествия нация как событие обнаруживает свой более или менее неопределенный, необязательный характер: в этом смысле по-русски говорят «ждать до второго пришествия», то есть событие нации может случиться, а может и не случиться; в-третьих, нация как событие – это история, рассказ, нарратив о пришествии нации; в-четвертых, и это самый печальный смысл данного выражения, нация как событие заключает в себе смысл ухода нации в историю, в прошлое, в историческое небытие.

Разумеется, предложенная трактовка понятия нации как события имеет исключительно частный, необязательный характер. Собственно говоря, она сложилась в ходе работы с текстами Шарля Пегги (1873–1914) выдающегося французского мыслителя, писателя, поэта, публициста, о котором виднейший французский философ Анри Бергсон (1859–1941) отзывался накануне Второй мировой войны следующим образом: «Великая и восхитительная фигура! Она была выкроена из той ткани, которую задействует Господь для создания героев и святых. Именно героев, ибо с ранней юности у Пегги не было иной заботы, кроме той, чтобы жить героически. А также святых, хотя бы потому, что он разделял с ними убеждение в том, что не бывает незначительных поступков, что всякое человеческое деяние важно само по себе и раздается по всему моральному миру (Bergson 857). Несмотря на то, что текст, в котором прозвучали эти громкие слова, принадлежит к коммеморативному жанру и был написан в ознаменование двадцатипятилетия со дня смерти Пегги, необходимо признать, что за внешней приподнятостью интонации скрывается одна из самых верных и точных оценок жизненного подвига мыслителя, в котором автор «Двух источников морали и религии» (1932) видел, прежде всего, ориги-

нального философа, воплотившего идеалы глубинной, «крестьянской», «ремесленнойческой» Франции, каковым он сумел придать своеобразное «благородство и аристократичность» (Bergson 858). Разумеется, отношения Бергсона и Пеги заслуживают отдельного рассмотрения, что мы надеемся сделать в дальнейшем, а сейчас просто наметим путь, по которому нам предстоит пройти, чтобы приблизиться к надлежащему пониманию концепции французской нации, представленной Пеги в своем незавершенном сочинении «Сопутствующая заметка о Г-не Декарте и декартовской философии», оборвавшемся на полуслове в самом начале августа 1914 г., когда автор был призван в действующую армию, чтобы месяц спустя пасть смертью храбрых в бою под Вильруа в преддверии знаменитой битвы на Марне.

Действительно, нам важно, во-первых, дать краткий, сжатый очерк жизненного и творческого пути Пеги, поскольку он не принадлежит к числу самых знаменитых в Сербии и России французских мыслителей; во-вторых, так как речь о практически неизвестном в России сочинении, представляется необходимым привести русский перевод нескольких фрагментов из предсмертного труда философа; в третьих, нам предстоит остановиться на характеристике «Сопутствующей заметки о Г-не Декарте и декартовской философии», которая, начиная с заглавия, требует детального историко-филологического комментария; в-четвертых, наконец, нам следует разобраться в исключительно оригинальном видении существа французской нации, выраженном Пеги в этом сочинении. Предваряя последующее изложение, можно сказать, что один из главных парадоксов этой концепции заключается в том, что, выйдя из под пера мыслителя буквально накануне войны, она мистическим образом предвосхитила и характер предстоящего

военного конфликта, и последующий ход европейской истории, вылившийся в 1939 году в новую кровавую бойню.

Вместе с тем, необходимо сразу подчеркнуть, что сама концепция французской нации, представленная Пеги в этой работе, отличается своеобразным интеллектуальным экстремизмом и, как это ни парадоксально, могла оцениваться как «национал-социализм» *avant lettre*: во всяком случае, она воспринималась таковой французскими писателями правого толка, включая знаменитого певца «национальной энергии» Мориса Барреса (1862–1923), который положил начало легенды «Пеги-патриота», и кончая сыном писателя Марселем Пеги (1898–1972), который в своей книге об отце, опубликованной в 1941 году в оккупированном немцами Париже, не остановился перед тем, чтобы объявить автора «Сопутствующей заметки о Г-не Декарте и декартовской философии» предтечей немецкого национал-социализма (Réguy 1941). Парадоксальность или даже абсурдность последней оценки может показаться кричащей, если принять во внимание то обстоятельство, что предсмертный труд философа заключает в себе редкое по своей радикальности видение немецкой нации как «расы господ».

Уже из приведенных оценок можно понять, что начиная говорить о Пеги, мы приступаем к рассмотрению трудов и дней одного из самых противоречивых, самобытных и страстных искателей истины, которых когда либо породила французская земля. При этом в России творчество Пеги находится скорее на периферии исследовательских интересов, так что вслед за французским литературоведом Филиппом Ренье мы вправе задать вопрос: «...Чем, как не идеологией (идентичность и единство послереволюционной Франции), объясняется то, что в качестве “литературных” изучаются главным образом тексты Монтеня, Боссюэ, “Общественный

договор”, “Исповедь” или “Новая Элоиза” Руссо, но почти не изучаются ни ораторы Революции, ни Ламенне, ни Фурье, ни Прудон, ни Жорес и так мало Пеги?» (Ренье). И если во Франции ситуация с 2003 г. существенно изменилась, особенно в связи со столетием смерти писателя, ознаменованным в 2014–2015 годах публикацией целого ряда коллективных трудов и новых биографий писателя (см. Europe; Leroy; Riquier; Teyssier; Worms), то в отечественном литературоведении Пеги остается, по существу, непрочитанным писателем и неосмысленным философом, во всяком случае, в посвященных ему трудах российских исследователей самые острые углы позиции писателя остаются, как правило, без надлежащего внимания (см. Тайманова; Карташев).

Нам также важно сразу подчеркнуть, что Франция находится в самом сердце беспокойной, бескомпромиссной, безудержной мысли Пеги: о чем бы он ни писал – о легендарной Жанне д’Арк или актуальном деле капитана Дрейфуса, о шевалье Декарте или профессоре Коллеж де Франс Бергсоне, о социалистической революции или о духе государственного порядка, о музее истории Клио или господстве денег в современном мире, – из под его пера неизменно выходили горячие, обжигающие сколки многообразной, многосторонней, многозначительной идеи свободолобивой Франции, которая в последнем сочинении философа была как нельзя более резко противопоставлена Германии и немецкому образу мысли:

... в Германии никогда не могла родиться истинная философия свободы, ни даже истинно свободное мышление. Свободой немцы называют то, что мы называем добровольным рабством. То, что они называют социализмом, мы называем жалким левоцентризмом.

А что немцы называют революцией, мы называем законченным консерватизмом.

В этом также причина, что такая философия, как философия Бергсона, в сущности своей либеральная и либертарная, причем не только по системе, но и по сердцу, по роду, могла появиться только на французском языке, на французской земле, во французской культуре. Только французская свобода могла вылиться в такой конкретный случай, как бергсоновская свобода. Именно поэтому философия Бергсона как нельзя более противоположна немецкому мышлению» (Réguy 1997: 1347).

БЫТЬ ПРОРОКОМ В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

В процитированной выше заметке Бергсон совершенно справедливо акцентировал стремление Пеги к героическому образу жизни. Эту идею необходимо чуть развернуть и уточнить, указав, прежде всего, на то, что героизация существования сопровождалась в сознании писателя своего рода мифологизацией собственного происхождения, точнее говоря, сотворением персонального мифа, в стихии которого Пеги, с одной стороны, всячески усиливал мотив простонародного начала в своем интеллектуальном становлении, тогда как с другой всемерно противопоставлял себя «партии интеллектуалов», господство которой в литературной и политической жизни Франции представлялось ему столь же пагубным, как и власть денег в современном (капиталистическом) мире: и первое и вторая отличаются, согласно его мысли, оторванностью от действительных нужд социальной жизни и реальных потребностей человека, а также характеризуются устойчивой тенденцией к воспроизводству (капитализации) собственных струк-

тур, которая реализуется в ущерб интересов социума. В стихии этого героического мифа самому Пеги нередко случалось терять связи с текущей действительностью, живыми людьми, бывшими друзьями, прежними единомышленниками и входить в образ пророка, гласом вопиющего в пустыне изрекающего первые и последние истины, до которых нет дела соотечественникам: в этом устремлении во что бы то ни стало достучаться до сердец он разрабатывал как собственный литературный стиль, основанный на культе повтора, в котором сказывается не то же самое, а ищется принципиальное различие, так и собственный образ жизни, в котором идеал среброненавистника все время поверялся борьбой с нуждой, долгами, жаждой обеспечить достойное существование близким. В злополучной разорванности сознания Пеги действительно сходилась со святыми, которыми, наподобие боготворимой им Жанной д' Арк, движет убеждение, что всякое человеческое деяние обладает неисчерпаемым значением, что всякий поступок исполнен глубокого смысла, который может раскрываться с течением времени, но всегда присутствует в настоящем, здесь и сейчас. В данном отношении как нельзя более красноречивыми, показательными, трогательными являются мемуарные свидетельства, в которых запечатлены прощальные визиты, которые наносил Пеги перед отправкой на фронт: как будто в предощущении смерти, мыслитель прощался не только с близкими, но искал прощения у тех, кто со временем, а также в силу прошлых интеллектуальных распрей, стали дальними, у прежних единомышленников, бывших друзей (Leroу 338). Словом, все эти патетические сцены вызывают в мысли скорее не исполнение гражданского долга и подчинение приказу о всеобщей мобилизации, а мужественное предуготовление к жертвоприношению, к смертной казни, к

кресту, на котором один в ответе за всех. Сама гибель лейтенанта Пеги описывается самым авторитетным биографом писателя в квази-христологических тонах:

Был отдан приказ отбить штыковой атакой высоту Монтион, откуда немцы контролировали всю равнину. Цель находилась в трех километрах, огражденная линиями траншей и защищенная пулеметными гнездами. Спускаясь по склону, рота попала под ливень пуль. Солдаты спрятались на мгновение за склоном на выходе из деревни. Затем рота снова бросается в атаку; капитан Гэрен убит, лейтенанта де ла Корнильера постигает та же участь; с трудом пробежав несколько десятков по овсяному полю, Пеги, оставшийся единственным офицером в роте, приказывает солдатам залечь, чтобы они могли укрыться от пулеметного шквала. Сам он направляет ответный огонь и упорно стоит под пулями. Одна из них попадает ему прямо в лоб, он падает ниц, пав жертвой, по всей видимости, одного из этих элитных стрелков, оснащенных винтовками с оптическим прицелом, которыми немцы укрепили свои части. Менее чем за час 19 рота потеряла три четверти личного состава и всех трех офицеров (Leroy 296–297).

Бергсон, который, разумеется, не мог знать всех этих подробностей, кропотливо воссозданных позднее биографами по свидетельствам очевидцев и военным архивам, не мог ошибиться в главном: философ Пеги жил, творил и погиб как настоящий герой.

Казалось, ничто не предвещало этого мученического нимба в самом начале пути будущего поэта и мыслителя: он появился на свет в 1873 году во французской глубинке, в бургундском предместье Орлеана, в семье плотника и плетельщицы стульев. Позднее,

в пылу жарких интеллектуальных полемик, ему неоднократно доводилось бравировать своим простонародным происхождением и называть себя то «дровосеком орлеанского леса», то «луарским крестьянином», то «виноделом с прибрежий и песков Луары» . Так или иначе, но острое чувство принадлежности к глубинной Франции действительно придавало сознанию мыслителя необычайную свободу критического суждения, которая могла шокировать иных парижских коллег по писательскому цеху. Но в этой свободе критического суждения было также нечто иное: поиск выхода к некоей анонимности человеческого голоса, не сдерживаемого рамками определенной дискурсивной институции – академической, профессиональной, религиозной, университетской и т.п. В «Сопутствующей заметке о Г-не Декарте и декартовской философии» культура анонимного суждения прямо связывалась с поиском возможности говорить без имени от имени отечества: «Почему не сказать прямо: он с гордостью погружается в эту анонимность. Аноним – вот его патроним. Анонимность – вот его необъятная патронимность» (Réguy 1992: 1298–1299).

Вместе с тем, в самом начале этого поиска голоса отчизны находились также две движущие силы, которые, не будучи совершенно внеположными, требовали особых усилий по субъективизации, то есть внутренней работы молодого человека по преобразованию себя в творческую личность. Первая из них – это унаследованный, впитанный с молоком матери и считанный с витражей Орлеанского собора католицизм. Несмотря на период юношеского охлаждения веры, зрелому Пеги довелось пережить истинное возрождение или даже воспламенение католического чувствования внутри творческого сознания: так или иначе, католицизм пребывал живым источником интеллектуального становления

мыслителя, никогда не приемля при этом догматических форм католической церкви. Голос Пеги-католика – это голос Жанны д'Арк, сожженной за ересь церковниками.

Вторая – это благоприобретенная германофобия, тесно связанная с утратой отца, ушедшего из жизни в год рождения Пеги: вследствие лишений и тягот, выпавших на его долю в ходе франко-прусской войны 1870–1871 годов, когда он защищал осажденный Париж, Дезире Пеги по возвращении домой тяжело заболел, слег в постель и тихо примирился со смертью, терзая и убивая себя мыслью о своей бесполезности в деле обеспечения семьи. Со временем Германия стала настоящим наваждением Пеги, который, подобно своему современнику Полю Валери (1871–1945), уже с конца XIX века воспринимал политическую эволюцию немецкого государства в свете воли к установлению германского господства по всей Европе (Фокин).

Таким образом, если поражение 1871 года и аннексия Эльзаса-Лотарингии, воспринимались молодым Пеги исключительно в понятиях личных утрат, то танжерский кризис 1905 года, в котором Франция вновь отступила перед методичным усилением политических амбиций и позиций Германии, стал для него настоящим откровением: в этот момент мыслитель пришел к убеждению, что голос отечества должен перекричать голоса тех, кто, прикрываясь социалистической риторикой, пытался свести суть происходящего к классовой борьбе и грядущему интернационально-социалистическому братству, где «нет ни Эллина, ни Иудея». Тогда, в ответ на книгу социалиста и пламенного антимилиариста Гюстава Эрве (1871–1944) «Их отечество» (1905), где развенчивалась всякая идея родины, которая, с точки зрения автора, была лишь орудием господства привилегированного меньшинства над толпами

обездоленных, Пеги написал «Наше Отечество» (1905), одну из главных своих книг, ставшую краеугольным камнем его доктрины французской нации.

Национализм Пеги складывался не столько на идее превосходства французской нации, сколько на вере в универсальность французской культуры, которую он воспринимал как колыбель европейской цивилизации. Не что иное, как попрание исторической миссии Франции, початое во франко-прусской войне, вызывает гнев и ярость философа, выступающего за историческую справедливость или, по крайней мере, за то, во что он верует тертуллиановой верой: «Чем дальше я восхожу во времени, тем властнее, сильнее впечатление глубокого оскорбления; с глубочайшей древности, по праву рождения, по божественному праву Франция была королевой наций; [...] тогда мы привыкли говорить как господа или, по меньшей мере, как законодатели, готовые обсуждать дела народов; мы говорили на естественно универсальном, по желанию, профетическом языке, правда, всегда звучавшем в большом и благонравном сообществе; [...] когда у других народов была своя политика, индивидуальная политика простых бедных народцев, у нас не было своей политики, нашей индивидуальной политики; в сущности, наша политика всегда была политикой человечества, лучше сказать – божественной политикой (Réguy 1988: 142–143).

Очевидно, что в таких мыслительных построениях способность критического суждения, основанная на убеждении в том, что говоришь от имени анонимного народа, от имени тех, кто лишен голоса в стихиях интеллектуальных баталий, подкреплялась или даже подстегивалась глубокой верой в историческую миссию Франции. Очевидно и то, что, отождествляя свой голос с голосом Франции, мысль Пеги нередко склонялась к тому, чтобы

Германию тоже воспринимать в понятиях исторической личности, которая персонально несет ответ за нарушения сложившегося европейского строя, связанные с политикой пангерманизма. Вот почему уже в работах начала века из под пера Пеги-публициста могли выходить довольно смелые или даже резкие политические формулы, согласно которым всей Германии была «свойственна психология величайших преступников», а аннексия Эльзаса-Лотарингии являлась «самым гнусным преступлением, которые когда либо совершались против справедливости и прав народов» (Réguy 1988: 109–111). В свете этих формул очевидно также, что в мысли Пеги нация представляла именно событием, в том смысле, что однажды явившись в образе универсальных по своему строю культуры, политики, языка, нация все время требует активного самоутверждения в новых исторических условиях. Словом, не что иное, как история рождает это единство живого чувствования отчей земли, связывающего людей одной нации, несмотря на культурные, ментальные, образовательные, профессиональные и социальные различия.

Трудно было бы понять становление доктрины нации в сознании Пеги, если не остановиться, хотя бы вкратце, на особенностях его образовательного маршрута. Действительно, Пеги был не только плоть от плоти французской глубинки, но и замечательным порождением системы образования III Республики, меритократическое начало которой («От каждого по способностям, каждому по заслугам») парадоксальным образом обеспечивало как формальное соблюдение республиканского принципа равенства шансов, так и реальное формирование дипломированной интеллектуальной элиты. Последняя, в силу значительной длительности классического университетского маршрута, оказывалась достаточно

удаленной от низших или даже средних социальных кругов. В этом отношении своеобразие интеллектуальной позиции Пеги определялось тем, что благодаря своим исключительным умственным способностям, трудолюбию, упорству и несомненным достоинствам республиканской системы образования он сумел пройти все ступени интеллектуальной лестницы, поднявшись до того Олимпа французского высшего образования, которым была и остается Эколь Нормаль Сюперьер, кузница кадров «республики профессоров», как определял политическую систему Франции в 1927 г. знаменитый критик Альбер Тибодет (1874–1936), сделав упор на том, что высшее звено руководства страны составили выпускники знаменитой школы на рю д'Юльм (Thibaudet). Другими словами, Пеги, выходец из французской глубинки, сумел достичь святая святых интеллектуальной элиты Франции, откуда, правда, он вышел, не окончив полного курса, точнее, так и не написав диссертации и не сдав экзамена на заветную степень агреже, открывавшие доступ к профессорской карьере. Учитывая эту незавершенность научного маршрута Пеги, следует точно представлять себе, что голос, что звучит в его текстах, никогда не сводится к голосу академического философа или университетского историка, если взять научные дисциплины, которыми он преимущественно занимался в Эколь Нормаль Сюперьер. Вместе с тем, не приходится сомневаться, что это голос философии, если понимать под ней не метафизическое предприятие, нацеленное на определение условий возможности отправления чистого разума, а такое упражнение в поиске истины, в котором субъект рассуждения берет на себя груз ответственности говорить от имени тех, кто не имеет права голоса в философии: крестьян и рабочих, бедных и нищих, вечных студентов и городских горлопанов. В одной из самых антифилософских своих книг

«Виктор-Мари, граф Гюго» (1910) Пеги-мыслитель, полемизируя с Даниэлем Галеви (1872–1962), своим ближайшим единомышленником, рафинированным парижским интеллектуалом, одним из самых образованных людей той эпохи, запальчиво замечал: «Я рассчитываю, Галеви, что Вы не станете улаживать эти дебаты кантовскими методами, кантовской философией, кантовской моралью. У кантизма чистые руки. ПРАВДА, РУК У НЕГО НЕТ. Что до нас, то нам случается – руками мозолистыми, руками узловатыми, руками грешными – черпать полными пригоршнями» (Réguy 1992: 331– 332). Таким образом, голос Пеги-философа – это голос антифилософии, не в смысле отрицания философии как таковой, хотя, разумеется, следует признать, что наш философ на дух не переносил немецкой философии, но в смысле отрицания профессорской, чиновничьей, университетской философии своего времени, помешанной на кантизме и формализме. Голос Пеги – это не голос нищеты французской философии, это голос нищего и... грешного от французской философии.

ПЕГИ — КРИТИК СОВРЕМЕННОГО МИРА

Как уже говорилось, философия Пеги никоим образом не укладывается в рамки академического, дисциплинарного, университетского образа мысли. Более того, она всегда обращена к актуальности, современности, хотя стихия истории остается одним из интеллектуальных оснований его мышления. При этом философ никогда не удовлетворяется противопоставлением себя или своих идеалов «современности», он стремится воздействовать на те болевые точки своего времени, которые представляются ему симптомами повсеместного и бесповоротного упадка Франции.

«Пеги не анализирует социальные, экономические, политические процессы, пишет Т.С. Тайманова, – он констатирует симптомы общественной болезни, давая каждому из них свое название. Так в текстах публицистики Пеги появляются ключевые слова, символизирующие то или иное общественное явление... Эти ключевые слова – «деньги», «нищета», «антисемитизм», «партия интеллектуалов» – постоянно находятся в центре внимания писателя, кочуют из статьи в статью...» (Тайманова 89–90). Сколь абстрактными ни казались бы рабочие понятия Пеги-аналитика «современного мира», под его беспокойным пером каждое из них становится своего рода «молотом», посредством которого писатель-философ сокрушает современные, слишком современные ценности. Сам стиль Пеги – с его постоянными повторами, развернутыми периодами, непрерывными возвращениями назад – оказывается главным двигательным нервом этого «философствования молотом», к которому призывал в свое время Ницше. Не менее важно и то, что «современный мир» Пеги критикует не столько во имя вневременных ценностей, сколько исходя из понятия вечно современной «мистики», которая противопоставляется всевластию в текущей действительности бездуховной политики, которое распространяется как на деятельность политических движений, так и на направленность государственных установлений. «Современная мистика» не есть бесплотная абстракция – это своего рода умственное подвижничество, направленное против господства политики, бесцеремонно занявшей в современном мире место религии.

Активная политическая позиция Пеги, его постоянное присутствие в современности подкреплялись постоянным вниманием к истории, точнее, к проблеме истории как науки. История была

истинной стихией всей мысли Пеги, тем элементом, в котором писатель постоянно черпал энергию для своих размышлений. Начиная с так и не написанной диссертации на тему «О ситуации, в которую была поставлена история в общей философии современного мира», необычайно высоко оцененной в обстоятельной работе знаменитого бельгийского философа И. Стенгерс (Stengers 31-67) и заканчивая работами о музее истории Клио, Бергсоне и Декарте, Пеги вновь и вновь обращается к исторической науке, постепенно разрабатывая свой метод постижения прошлого. Какой бы текст Пеги мы ни затрагивали, идет ли речь о прозе или поэзии, в нем всегда есть поворот к истории. Повышенное внимание Пеги к истории было не причудой одиночки, противопоставлявшего себя университетской исторической науке, а ответственным выбором писателя и мыслителя, который остро чувствовал недостаточность позитивистско-интеллектуалистского метода исторического повествования. Важно и то, что этот выбор осуществлялся в общем русле формирования нового понимания времени, куда вливались искания А. Бергсона, П. Валери, М. Пруста. По существу, Пеги-историк ставит под вопрос методы «большой истории» – истории событийной, политической, военной, дипломатической, биографической – выявляя неизбежность того методологического поворота в исторической науке, который был вскоре сделан школой «Анналов». Но если «Анналы» в противовес истории как единой и неделимой истине сделали ставку на «историю малых истин», то Пеги смещает метод истории в область религиозно-мистическую и поэтическую.

В апреле 1914 года Пеги пишет одну из важнейших своих философских работ – «Заметку о Г-не Бергсоне и бергсоновской философии», которая была необычайно тепло принята автором «Творче-

ской эволюции», писавшем своему бывшему ученику и критику 4 мая 1914 года после того как часть работы была опубликована в журнале «Grande Revue»: «Я только что получил Вашу статью из «Grande Revue» и сразу же хочу сказать, какое великое, величайшее удовольствие я испытал, ее прочитав. Она слишком доброжелательна; Вы увидели творчество сквозь призму симпатии, которую питаете к автору; но Вы замечательно уловили и передали если и не то, что я сделал, то, меньшей мере, то что мне очень хотелось бы сделать» (Bergson 853). В следующем письме, которое представляло собой отклик на выход в свет полного текста «Заметки о Г-не Бергсоне и бергсоновской философии», мыслитель подчеркивал: «Я особенно отметил для себя Ваши размышления о Декарте, а также нахожу глубокими ваши заключительные размышления о жесткости и гибкости, особенно о жесткости и гибкости в морали». (Bergson 854). Как будто откликаясь на замечание Бергсона, в июле 1914 г. Пеги принимается за новую работу, которую пишет словно в пандан к первой: «Сопутствующая заметка о г-не Декарту и декартовской философии». Несмотря на наукообразность двух заглавий, которые как бы пародируют друг друга, пародировав также стиль университетской философии, в этих работах не найти строгих рассуждений, посвященных двум важнейшим для Пеги французским философам. Речь идет, напротив, о своего рода метафизическо-поэтических соображениях о Франции, французском уделе, французской культуре, французской истории. Как уже говорилось, «Сопутствующая заметка о г-не Декарте и декартовской философии» оборвалась на полуслове; однако то сопоставление французской и немецкой наций, которое составляет один из интеллектуальных нервов этого труда, оказалось своеобразным мистическим предвосхищением двух грядущих

столкновений Франции и Германии в мировых войнах. Вот почему в заключение нашей работы представляется целесообразным привести русский перевод нескольких наиболее характерных фрагментов предсмертного труда Пеги, дополнив его кратким историко-филологическим комментарием.

**ШАРЛЬ ПЕГИ О ВОЙНЕ, ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ (ФРАГМЕНТЫ
«ЗАМЕТКИ О Г-НЕ ДЕКАРТЕ И ДЕКАРТОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ»)**

«Часто говорят о войне как о громадной дуэли, дуэли между народами и – взаимнообразно – часто говорят о дуэли как о, так сказать, редуцированной, схематизированной, войне между двумя индивидами. Говорят о войне как о дуэли большого масштаба и о дуэли как войне малого масштаба. Это – великое заблуждение. Возможно, множество значительных исторических неясностей можно было бы рассеять, множество затруднений разрешить, если бы мы в точности различали, что есть два вида, рода войны и что они, возможно, не имеют между собой ничего общего. Я даже не скажу, что древняя борьба за жизнь разделилась на два рода: борьба за честь и борьба за власть. Я не скажу также, что эти два рода войны имеют общее происхождение. Я скажу: есть два рода войны, которые, возможно, не имеют между собой ничего общего и которые, тем не менее, постоянно смешивались и перемешивались в истории. Действительно, одна происходит от дуэли, а другая от нее вовсе не происходит. Одна война – это расширение дуэли, буквально: дуэль между народами. Есть род войны, которая является войной за честь, и есть совершенно другой род войны, которая является борьбой за господство. Первая происходит от дуэли. Представляет собой дуэль. Вторая не

имеет ничего общего с этим началом. Более того, она как нельзя более чужда дуэли, кодексу чести. Хотя не чужда героизма. Есть род войны, которая являясь войной за честь, представляет собой войну за вечность. И есть род войны, которая являясь войной за господство, представляет собой войну за преходящее, временное.

Есть род войны, в котором главное – сражение, и есть род войны, где главное – победа.

Есть род войны, для которой бесчестная победа (при помощи предательства, например) намного хуже (сама мысль о ней невыносима), чем почетное поражение (то есть, поражение вынужденное, заслуженное в честной схватке).

И есть род войны, для которой успех оправдывает все, род войны, для которой чужда сама мысль, что может быть какая-то бесчестная война: ведь важно победить, род войны, для которой чужда сама мысль, что может быть бесчестная победа.

Есть род войны, где все устремлено к красоте сражения, и есть род войны, где все устремлено к провозглашению победы.

Есть род войны, где все устремлено к высказыванию, и есть другой род войны, где все устремлено к провозглашению.

Есть такой род войны, где все устремлено к постановке проблемы и другой, где все устремлено к разрешению проблем.

Есть война, которая стремится к постановке проблем и есть другая, которая стремится поскорее их разрешить.

Есть война, что устремлена к рыцарству, и есть другая, что устремлена к империи.

Эти два рода войны постоянно более или менее связаны между собой в военной и политической истории: они переплетаются между собой, рвут появившиеся связи, смешиваются и различаются.

По всей истории человека и мира они постоянно вступают в союзы, мезальянсы, разводятся. Множество неясностей можно было бы прояснить, множество трудностей разрешить, если бы не продолжали их путать [...]

Можно сказать, что в нынешнем, современном мире французы все еще являются превосходными и, возможно, единственными представителями рыцарской расы (строго определенной выше), тогда как немцы являются самыми непреклонными и, возможно, единственными представителями господской расы. Именно поэтому мы ничуть не преувеличиваем, когда верим, что весь мир заинтересован в сопротивлении Франции немецким посягательствам. И что вместе с нами сгинет весь мир. И это будет мир свободы. И таким образом – мир благодати.

Германии никогда не перекроить Франции. Это вопрос расы, рода. Никогда ей не перекроить свободы, благодати. Германии никогда ничего не перекроить кроме своей империи и своего господства. Когда французы говорят, что они кроют колониальную империю, не нужно им верить. Французы распространяют свободы. Когда Наполеон полагал, что основывал необъятную империю, не нужно ему верить. Он распространял свободы[...]. Эта «империя» была системой свобод. Сейчас это очевидно. Все народы, которые вытеснили «империю», положили сто пятьдесят лет на то, чтобы даже не преуспеть отвоевать себе некоторые из свобод, которые «империя» несла им, ничуть этого не остерегаясь, в кобурах имперских уланов, в походных сундуках имперских маркитанток. Настоящее чудо в том, что со всем своим имперским аппаратом немцы добились не больше чем мы, со всем нашим плачевным беспорядком в свободе. Наверняка есть в этой плачевной свободе

какой-то большой секрет. Добродетель. Благодать. Чудесная сила. Порядок (другой).

Я не хочу сказать, что мы стоим больше, чем другие. Мы – это род, раса. Немцы другого рода, другой расы. (Мы – грешники). Мы не всегда бываем хорошими учителями. Зато всегда – дурными правителями.

Мы претерпеваем всех деспотов, особенно если они популярны, мы из расы людей свободы. Свобода – уникальное благо, драгоценное до уникальности. Немцы веками не могли основать своей империи, а когда наконец переосновали, то исключительно на наших руинах, сорок четыре года назад, они из расы людей империи и всегда такими были. Священная германо-римская империя.

В этом также причина того, что в Германии никогда не могла родиться истинная философия свободы, ни даже истинно свободное мышление. Свободой немцы называют то, что мы называем добровольным рабством. То, что они называют социализмом, мы называем жалким левоцентризмом.

А что немцы называют революцией, мы называем законченным консерватизмом.

В этом также причина, что такая философия, как философия Бергсона, в сущности своей либеральная и либертарная, причем не только по системе, но и по сердцу, по роду, могла появиться только на французском языке, на французской земле, во французской культуре. Только французская свобода могла вылиться в такой конкретный случай, как бергсоновская свобода. Именно поэтому философия Бергсона как нельзя более противоположна немецкому мышлению. (Я имею в виду бергсоновское мышление и бергсоновскую свободу) (Рёдиу 1992: 1342–1347).

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Прежде всего несколько слов в объяснение названия. Согласно изысканиям французских текстологов, и «Сопутствующая заметка о г-не Декарте и декартовской философии», и «Заметка о Г-не Бергсоне и бергсоновской философии» восходят к замыслу диссертации «О ситуации, в которую была поставлена история в общей философии современного мира» (Réguy 1992: 1764). Жанр заметки (*la note*) отсылает в первую очередь к такому виду ученой или университетской работы, как рабочие «заметки на полях» какой-нибудь книги, статьи или рукописи; вместе с тем он соотносится с рабочей, черновой записью, сделанной в связи с замыслом какого-либо сочинения; так или иначе, в начале XX века, когда Пеги работает над своими эссе, жанр заметки относится к академической форме письма, имеющей подготовительный, предварительный характер, что предопределяет некую «неподсудность» стиля его философствования, его независимость от университетской институции.

Парадоксальность философского высказывания усиливается через биографизацию метода рассуждения, когда в выражении «Заметка о Г-не...» жанр ученой заметки направляется на личность, персонаж философа. Действительно, если принять, что заглавия двух эссе Пеги прямо отсылают к самой известной биографии Декарта, принадлежащей перу А. Байе (1649–1706) «Жизнь Г-на Декарта (1691), то приходится признать, что Пеги убежден, что тот, кто мыслит, предвосхищает само мышление: на место *cogito ergo sum* выдвигается *sum ergo cogito*. В этом плане показательно, что именно в «Сопутствующей заметке о г-не Декарте и декартовской философии» появляется едва ли не самое знаме-

нитое высказывание Пеги об основоположнике картезианства, которое повсеместно цитируется во французских картезианских размышлениях: «В истории философии Декарт всегда будет этим французским шевалье, который тронулся вперед таким добрым аллюром» (Réguy 1992: 1280).

Противопоставление немецкой и французской наций, которое проходит красной нитью по всему фрагменту, основывается на концепции двух видов войны, как будто для Пеги именно война как событие, ломающее ход истории, является своего рода мерилем существа, события, пришествия нации. При этом сам стиль философского рассуждения принимает формы катастрофического события: несмотря на то, что военные действия еще не начались, мысль Пеги живет стихией войны или, по меньшей мере, дуэли, которая для него является эталоном борьбы за достоинство, честь и вечность, в отличие от имперского завоевания территорий, неизменно чреватого временностью, но не исключаящего героизма

Подобно многим современникам начала века, Пеги спокойно оперирует понятием «раса», которое в его мысли соотносится не с биологией, но с нацией как неким духовным принципом, своего рода экзистенциальным выбором, основанным на понятии свободы. Нация в мысли Пеги никогда не сводится к вопросам рода, территории, языка, которые неизменно играют у него второстепенную роль, тогда как последнее слово всегда остается за свободой, вот почему в дуэльном запале ему случается перегибать палку и представлять имперские амбиции Наполеона борьбой за установление в Европе системы свобод, как если бы сам он предавал забвению ту простую мысль, что свобода народа, навязанная извне, граничит, с одной стороны, с деспотизмом, тогда как с другой – с произволом, во всяком случае, с насилием, империализмом.

То же самое происходит с философией свободы Бергсона, которая с тем же дуэльным азартом противопоставлялась духовному строю немецкой мысли, олицетворением которой являлся для Пеги Кант.

В заключение необходимо еще раз повторить, что национализм Пеги никоим образом не принимает форм расистской или националистической доктрины, раса для него есть не иное, как единственное, исключительное в своем роде событие, наподобие пришествия, благодати – *la race=la grâce* – и жертвоприношения. Так или иначе, но следует полагать, что именно воинственный настрой мысли содействовал необычайному усилению способности критического суждения философа, мистическим образом предвосхитившего и ход Великой войны, и исход Третьего рейха. ♡

Литература

- БИБИХИН, В.В., 2010: *Слово и событие. Писатель и литература*. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке.
- КАРТАШЕВ, П.Б., 2009: *Шарль Пегу о литературе, философии, христианстве*. М.: Флинта, Наука.
- ПОДОРОГА, В.А., 2010: Событие // *Новая философская энциклопедия: в 4 т.* М.: Мысль, <<http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH0139acd568bdd24f76199339>> 23. 10. 2016.
- РЕНЬЕ, Ф., 2003: Тезисы к дисциплине, именуемой «литература» (пер. с фр. С. Фокина под ред. С. Зенкина) // *НЛО* 2003, № 59. <<http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/ren.html>> 23.10.2016.
- ТАЙМАНОВА, Т. С., 2006: *Шарль Пегу: философия истории и литература*. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Изд-во С.-Петербур. Ун-та,.
- ФОКИН, С.Л., 2003: Россия в геополитике Поля Валери // *НЛО* 2003, № 2 (60). 106–124.
- BENVENISTE, E., 1966: *Problèmes de linguistique générale*. I. Paris: Gallimard.
- BERGSON, A., 2011: *Écrits philosophiques/Sous la direction de F. Worms*. Paris: PUF.
- CASSIN, B. (Sous la direction), 2004: *Vocabulaire Européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles*. Paris: Seuil/Le Robert.
- DELEUZE, G., 1969: *Logique du sens*. Paris: Les Éditions de Minuit.
- EUROPE, 2014: Charles Péguy // *Europe*, №1024–1025 (août-septembre 2014).

- LEROY, G., 2014: *Charles Péguy, l'inclassable*. Paris: Éditions Armand Colin.
- PÉGUY, M., 1941: *Le destin de Charles Péguy*. Paris: Librairie académique Perrin.
- PÉGUY, CH., 1988: *Œuvres en prose complètes. II*. Paris: Gallimard.
- PÉGUY, CH., 1992: *Œuvres en prose complètes. III*. Paris: Gallimard.
- STENGERS, I., 2014: La thèse que Péguy n'a jamais écrite // *Europe*, №1024-1025 (août-septembre 2014). 31-67.
- TEYSSIER, A., 2014: *Charles Péguy*. Paris: Perrin.
- THIBAUDET, A., 1927: *La République des Professeurs*. Paris: Grasset.
- WORMS, F., RIQUIER, C., CHANTRE, B. (Sous la direction), 2015. *Pensée de Péguy*. Paris: DDB.

Резюме

Исходя из мысли Жюль Делеза, согласно которой событие есть, прежде всего, смысл, определяются главные задачи настоящей работы: во-первых, речь идет о нации как своего рода явлении, в том числе в самом сильном значении этого слова – пришествие нации, как говорят, о пришествии Христа; во-вторых, именно в этом смысле пришествия нация как событие обнаруживает свой более или менее неопределенный, необязательный характер: в этом смысле по-русски говорят «ждать до второго пришествия», то есть событие нации может случиться, а может и не случиться; в-третьих, нация как событие – это история, рассказ, нарратив о пришествии нации; в-четвертых, и это самый печальный смысл данного выражения, нация как событие включает в себе смысл ухода нации в историю, в прошлое, в историческое небытие.

Разумеется, предложенная трактовка понятия нации как события имеет исключительно частный, необязательный характер: она сложилась в ходе работы с текстами Шарля Пеги (1873–1914) выдающегося французского мыслителя, писателя, поэта, публициста. Поэтому задачи работы могут быть выражены более точно следующим образом: нам важно остановиться на характеристике посмертного сочинения философа, которое имеет длинное и непростое заглавие: «Сопутствующая заметка о Г-не Декарте и декартовской философии» и представить исключительно оригинальное видение существа французской нации, выраженном Пеги в этой работе. Один из главных парадоксов этой концепции заключается в том, что, выйдя из под пера мыслителя буквально накануне Великой войны (1914), она мистическим образом предвосхитила и характер предстоящего военного конфликта, и последующий ход

европейской истории, вылившийся в 1939 году в новую кровавую бойню. Обращается внимание также, что концепция французской нации, представленная философом в своем «Декарте» отличается своеобразным интеллектуальным экстремизмом и, как это ни парадоксально, могла оцениваться как «национал-социализм» *avant lettre*: во всяком случае, она воспринималась таковой французскими писателями правого толка. В ходе анализа этой концепции нации в статье устанавливается, что нация в мысли Пеги никогда не сводится к вопросам рода, территории, языка, которые неизменно играют у него второстепенную роль, тогда как последнее слово всегда остается за свободой. Вот почему ему случается перегибать палку и представлять имперские амбиции Наполеона борьбой за установление в Европе системы свобод. То же самое происходит с философией свободы Бергсона, которая жестко противопоставлялась духовному строю немецкой мысли, олицетворением которой являлся для Пеги Кант.

Сергей Леонидович Фокин

Сергей Леонидович Фокин — доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой немецкого, романских и скандинавских языков и перевода Санкт-Петербургского государственного экономического университета; профессор кафедры междисциплинарных исследований в области языков и литературы СПбГУ. Сфера научных и творческих интересов: история идей, французская литература, русская литература и философия, русско-французские интеллектуальные связи, немецко-французские культурные взаимосвязи, поэтика текста, история, теория, философия перевода. Автор многих статей по указанной тематике и ряда монографий: «Альбер Камю. Роман.

Философия. Жизнь», СПб, 1999; «Жорж Батай: Философ-вне-себя», СПб, 2002, «Пассажи: Этюды о Бодлере». СПб, 2011, «Фигуры Достоевского во французской литературе XX века». СПб, 2013.